

# Полет в Иерусалим

## 1. Один раз увидеть...

Один раз увидеть – больше, чем сто раз услышать. Это хадис, то есть частное высказывание Мохаммеда, не Коран, продиктованный Богом. Но сказано хорошо. Я знал, что израильтяне преобразили свою землю. Но из окошка автобуса я увидел зеленые холмы, между которыми вилось шоссе от аэродрома Бен Гурион в Иерусалим. То и другое было сделано людьми: и шоссе, и зелень. Шоссе не прорезало леса, не открыло дорогу вырубкам и пожарам – леса росли вместе с автострадой. Цивилизация не разрушала природу, а восстанавливала ее. В Норвегии цивилизация, развиваясь, оберегала природу; это прекрасно, но в Израиле человек творил заново заросли, украшавшие холмы. Бунин, в 1912 году, этой зелени еще не видел. Сегодняшний пейзаж показался бы ему сном.

Права на Палестину – спорные. Обетованная земля евреев стала святой землей христиан, а потом еще святой землей раннего ислама и местом, с которого Мохаммед вознесся в небо. Первый президент Израиля, Хаим Вейцман, говорил – и моя память сохранила его фразу: есть не одно, а два права на эту землю; наше право больше, потому что наша нужда острее. Сказанное в 1948 году, после гибели шести миллионов, это было правдой. Сейчас нужда – скорее в трущобах Газы. Но разрушение Израиля не насытит голодных. И за Израилем право добросовестного владения спорными территориями в течение нескольких десятков лет. Пусть это только владение, а не бесспорная собственность. Но владелец, насадивший в пустоши сад, вправе рассчитывать на признание каких-то его прав. Хотя это не отымает право на компенсацию у несчастных, полвека гниющих в лагерях беженцев. Их спровоцировали по радио бросать свои дворы, чтобы не мешать армиям Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Ирака громить и жечь израильтян. Но отряды израильской самообороны победили. Лидеры, спровоцировавшие войну, умыли руки и оставили беженцев на попечении ООН, план которой – план мирного раздела – они отвергли. И платят за это не они, а беженцы. А лидеры используют их нужду в своей борьбе за господство.

Между тем земля, доставшаяся Израилю вопреки всем ожиданиям, украшалась и украшается людьми, две тысячи лет не знавшими чувства своей земли и только молившимися: на следующий год – в Иерусалиме. Земля сейчас – как икона в драгоценном окладе. Хотя огороды и сады играют ничтожную роль в экономике: сельским хозяйством занимаются сейчас 2% населения. Откуда же страсть к украшению земли? Ради доходов от туризма? Аверинцев писал, что венецианцы любят свой город не за красоту; наоборот, Венеция стала прекрасной, потому что венецианцы любили город, построенный в болотистой лагуне. Потом уже, через сотни лет, пришли доходы от туристов, любующихся древними палаццо. И в Израиле – как и во вселенной – вначале была любовь. Потом уже пришла красота любимой земли и после (быстрее, чем в Венеции, но после) доходы от туризма, от услуг туристам. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать.

Красота земли нарастает по мере того, как дорога идет вверх, и достигает волшебства в Иерусалиме. Новые жилые кварталы лепятся по склонам холмов, не нарушая их суровой гармонии, отдельными пятнами застройки из местного кремowego камня, не торчащей высотными зданиями, оставляющей куполам и колокольням их место в небе, широким кольцом вокруг стен старого города, возведенных Сулейманом Великолепным. И над этим сгустком истории и современности – никому не подвластное небо, не стиснутое домами (как в старом городе), небо, раскрывающееся на любом повороте дороги, небо, которое мы каждое утро, просыпаясь, видели из своего окна. Небо и холмы, холмы (700-900 м) и небо.

Немудрено, что здесь складывалась религия единого Бога, не видного очам и не постижимого

умом.

В Москве я несколько раз задумывался о том, что Израиль идет против рока, по меньшей мере – против течения истории, как в древности – против всего средиземноморского языческого мира. Местные ястребы напоминали мне иногда Гагена, обнажившего перед Кримгильдой меч Зигфрида (читатель простит мне, если я перепутал имена: не перечитывал Нибелунгов более 60 лет).

Само основание государства произошло в 1948 году, через год после того, как Англия ушла из Индии. Ветер с Востока задувал ветер с Запада, и, по логике национально-освободительных фронтов, запоздалое вторжение из Европы должно было быть сметено, сброшено в море. Французы терпели поражение в Дьен-Бьен-Фу, за ними попытались удержать Южный Вьетнам американцы – и не удержали, Де Голль отдал мусульманам французские департаменты Алжир, Оран и Константину, а заодно и пустыню с нефтью. А в Палестине арабов бьют и бьют, и кто – еврей! Только что уничтожаемые в Европе. И все попытки реванша рушатся. Израиль побеждает в 1948, 1956, 1967 и даже после очень тщательно и скрытно подготовленного наступления арабов – в 1973 году. Это была глубокая рана, нанесенная их самосознанию. И когда рухнула надежда на полевую войну, тысячи палестинцев, получивших высшее образование за счет ООН, стали учиться у европейских маргиналов технике террора. Некоторые формы террора удалось блокировать. Израильские самолеты не взрываются. Но против живых бомб нет безупречной защиты.

За короткое время Израиль потерял 9 миллиардов долларов на испуге туристов. И самое страшное – не это. Можно подтянуть пояса, а к опасности уличных взрывов привыкнуть, как к обстрелам в блокадном Ленинграде. Неразрешима (по крайней мере, до сих пор) проблема неравномерного роста населения. Победа 1967 года и последовавшая за победой аннексия увеличили число арабов – граждан Израиля (жители Западного Берега и Газы – не в счет). Арабов-граждан сегодня 1 200 000 человек. Через 20 лет они составят половину избирателей в Кнессет (а через 30 – подавляющее большинство). Мне как участнику конференции дали папку с планами министров, как решить эту проблему. Все планы, в которые я вник, отчасти невыполнимы, а отчасти – при попытке выполнения – получают название нового апартеида. Интенсивность ненависти народов друг к другу не смягчилась – она растет и растет. И все глубже сознание несравненной своей правоты, укоренной в Коране (с одной стороны) и в Библии (с другой стороны). Хаима Вейцмана никто на конференции не вспоминал.

Мы прилетели 10 октября, а 11-го, во время экскурсии, еще не зная всех деталей (конференция проходила 12-14.X.2003 г.), я просто увидел весь этот клубок древних религий, вцепившихся друг в друга. Золотой купол мечети Омара возносился в небо прямо над стеной плача. Этот образ врезался в мое сознание как символ, как падение башен в Нью-Йорке. Только башни поразили тем, что падали, а мечети, церкви и Стена плача – тем, что застыли в ненависти к ближнему, как Уголино в Дантовом аду.

Я почувствовал ударом сердца трагизм этого прекрасного города, повисшего над пропастью взаимной ненависти. Города множества святынь, не способных разжать стиснутые на ненавистном горле пальцы. И вдумавшись в этот коан (загадку, не разрешимую помраченным умом), я почувствовал на раннем рассвете, глядя в огромное иерусалимское небо: выход здесь – только через чудо, через примирение трех сестер-ненавистниц, трех наследниц Авраама, трех религий, возненавидевших друг друга в борьбе за владение вечной истиной. Без согласия каждой на второе место не может быть распутан иерусалимский клубок, наполняющий эфир аурой своих конвульсий. Религии стали дубинками, которыми политики бьют друг друга по голове. Ближневосточный детонатор взрывает во всем мире бомбы глобального террора. И нет спасения, если в каждом исповедании религия любви не победит религию ненависти.

\* \* \*

А главное в Иерусалиме  
Не зданья, а простор над ними.  
Ведь небо над Иерусалимом,  
Как Божье сердце, неделимо.  
И Бог тогда лишь с нами будет,  
Когда поймут однажды люди,  
Что всеедин и неделим Небесный Иерусалим.

\*\* \*

Я поняла, как создаются звезды -  
Когда земная жизнь сойдет на нет.  
В бессветной бездне затрепещет воздух

И задрожит и замерцает свет.  
Одна душа пересекла границу.  
Одна свеча у Бога зажжена.  
Но вдруг в зрачках бесчисленных  
отразится  
И станет бесконечностью  
одна.

\*\* \*

Передо мною озеро Кинерет  
И бесконечно ясный небосвод.  
И тот, кто до сих пор еще не верит,  
Приди и встань у неподвижных  
вод,  
У неподвижных гор, у неподвижных,  
Пересеченных вечностью времен.  
И ты поймешь, что Тот, кто мир созидает,  
Сейчас в недвижимый воздух погружен.  
В вечернем свете золотятся скалы  
И, точно камень этих скал, тверда,  
Невидимого трона пьедесталом  
Застыла розоватая вода.  
Ты наяву в таинственной отчизне,  
В которую вводили только сны -  
Незыблемость и неизбывность жизни,  
Незыблемость сердечной глубины.  
Недвижный мир, как небеса, просторный,  
Раскрывший крылья, неподвижный  
вид,  
И проповеди благовест Нагорной,  
Не прерываясь, до сих пор звучит.

\* \* \*

К Петру Иисус воскресший подступил,  
И Петр затрепетал, как лист под вихрем.

И вдруг упал, лишась последних сил,  
И все вокруг, как мертвое, затихло.  
Звезда скатилась медленно во тьму,  
И след дрожащий был едва заметен.  
Воскресший был не видим никому,  
Но Петр знал, что значит этот ВЕТЕР.  
Иисус воскресший подступил к Петру,  
Сказав: Ты мог от смертного отречься  
И отойти, рыдая, поутру,  
Но что теперь ты скажешь перед вечным?  
Ведь ты сейчас, как я, совсем один  
И между нами больше нет границы.  
И Петр сказал: Я – Твой, мой Господин.  
От самого себя нельзя укрыться.

## 2. Город под третьим небом

В кибуце на Голанских высотах фабрикуют майки с надписью: «Не робей, Америка! За тобой Израиль!» Майки живо раскупаются, хотя все понимают, кто впереди и кто позади. Но мира действительно нет нигде. Проблема всюду одна: как снять напряжение между нарастающей сложностью западной цивилизации и теми, кто хочет упростить ее, остановить разрушение традиций, втиснуть современность в прокрустово ложе схемы.

Каждая мировая религия – колодец в глубину, где горит вечно живой огонь. Но за тысячи прошедших лет колодцы стали самостоятельными святынями, более важными, чем сама глубина, и символами соперничества. Сегодня это помрачение сильнее, острее всего в исламе, но источник его общий. Нам всем не хватает чувства общей глубины; или, если заменить метафору глубины метафорой высоты, не хватает чувства общего неба, открытого в Божью бесконечность над любым клочком земли, над любыми куполами, не хватает символов этой общей бесконечности, от которой трепещет сердце и тает всякая вражда. Мы все в плену замкнутости своей культуры и отчуждения от Другого.

Мой старый друг Израиль Аркадьевич Мазус рассказывал, что когда-то школьный товарищ его спросил: в чем разница между русской и еврейской верой? Мазус был не большим знатоком богословия и ответил просто: «По Ветхому Завету, око за око и зуб за зуб, а христиане должны прощать». «Отчего же они не простят евреев?» – удивился Борис Воробьев. Мазус не знал, что ответить. И многие другие не знают, не понимают, что Ветхий и Новый Завет -только условные названия двух частей Библии. В любой великой религии переплетается ветхозаветное с новозаветным, а порою и дозаветным, уходящим корнями в древнейшие племенные нравы. Есть ортодоксальные евреи, которые все прощают, даже гитлеровские лагеря смерти, и есть православные, которые и до Ветхого Завета не доросли; например, соратники Гонты и Железняка, которые вырезали младенцев из чрева беременных и зашивали туда живых кошек, а между тем начинали восстание во имя Христа.

Иначе и быть не могло в реальной истории, где свет духа проходит через тупой человеческий мозг. Что такое Ветхий Завет? Завет с народом, с группой народов, священные основы государственного порядка. А Новый Завет – завет с личностью, для которой простая покорность Богу не насыщает сердца, с личностью, ищущей бытия в Боге.

Некоторые ветхозаветные книги толкуются христианами как пророчества о Христе. Они Его действительно подготовили, воспитали Его дух. И есть православные и католические богословы, которые этот дух гасят. Бердяев писал о Константине Леонтьеве, что можно его в известном смысле назвать православным, но христианином он не был. То есть была у Леонтьева

привязанность к православному обряду, но вовсе не было христианского духа. Христианство Достоевского он называл розовым. Достоевский не успел ему ответить, но мог бы вспомнить своего Великого Инквизитора, верующего какой-то черной верой.

Ветхий Завет исторически древнее. Он сложился, когда личность еще не выделилась из племени, из народа. Но давно уже оба Завета действуют одновременно. Когда надо, христиане обращаются к Ветхому Завету, а когда надо – к Новому. Вот пример, который я уже приводил: Петр Великий обратился к архиереям с вопросом, что делать с сыном, посягнувшим на отца? Архиереи ответили, что, по Ветхому Завету, сын, посягнувший на отца, достоин казни, а по Новому Завету – блудного сына надо простить. Петр выбрал то, что ему было удобнее. Так же действовали его предшественники. При Михаиле Федоровиче младенец, сын Марины Мнишек и Лжедмитрия, был повешен на серпуховских воротах. Казнь двухлетнего ребенка и под Ветхий Завет трудно подвести. Но государственные соображения требовали завершить череду самозванцев, и эти соображения победили. Церковь не осудила царя.

В других религиях явного деления на Ветхий и Новый Завет нет. Но одно дело – мекканские суры Корана, где только о милости и любви; другое – мединские суры, где даны законы войны и мира. Никакого обустройства народа из мекканских сур Корана нельзя вывести, и Мохаммеда сперва называли безумным поэтом, а царю Медины покорились.

Христос говорил: ищите царствия небесного, остальное приложится вам. Но он понимал, что заповеди блаженства – не для всех, и не отменял законов Моисея. Ветхий Завет – общая часть иудаизма и христианства. Иудаизм – это Ветхий Завет плюс Талмуд, плюс каббала, плюс хасидизм и другие движения. Христианство – это Ветхий Завет плюс Евангелие, плюс святоотеческие писания, плюс реформы Лютера и Кальвина.

Новозаветное учение, став государственным, или использует Ветхий Завет, или создает нечто подобное заново. Мусульманские законоведы, опираясь на мединские суры и хадисы, устные предания о Мохаммеде, выстроили школы государственного и частного права. Суфии, опираясь на мекканские суры и опыт соседних религий, прокладывали пути личного углубления – до встречи с Богом. Разрыва не произошло. После нескольких конфликтов суфии ужились с ортодоксальным исламом. Каббала и хасидизм остались в рамках иудаизма. Древний брахманизм разрешал самоуглубление только для духовного сословия, от остальных требовалось без рассуждений покоряться законам Ману и своей кастовой драхме. Успехи буддизма, открывавшего каждому путь в глубину, заставили пойти на реформы, признать право на осознание Атмана за любым аскетом, оставившим касту. А жизнь тех, кто довольствуется мирским попечением, индуизм украсил яркими праздниками. В итоге он обновился – и буддизм, не создавший ничего взамен кастового строя, был вытеснен со своей родины. Утвердившись за пределами Индии, буддизм создавал там новое «ветхозаветное» мироустройство или занял место в китайском разделении духовного труда. Учение Конфуция сохраняло в Китае государственный и семейный порядок, буддизм давал личности возможность самоуглубления.

Так или иначе, все средневековые религиозные культуры достигли полноты – каждая в своем регионе, вращаясь в местные традиции и перетолковывая их. Крупнейшим внешним сдвигом этой эпохи было разрушение Византии и захват Ближнего Востока исламом. Но порыв ислама захватить весь Старый свет выдохся, не достигнув цели. Выдохся и порыв христианских мореплавателей разнести по всему миру христианство. Число субглобальных цивилизаций не изменилось: Запад, Ближний Восток, Южная Азия, Дальний Восток. И сегодня, когда мировая цивилизация строится без сложившегося общего неба, это небо возможно только как общее поле диалога великих религий. В этом диалоге идет превращение глухих стен между религиями в нечто прозрачное, не мешающее понимать соседа, видеть его внутренний мир, а не только внешние формы.

Этих прозрачных границ многие боятся. Боятся, во-первых, что границы вовсе расплывутся, распадутся стенки колодцев в глубину и все выйдет на поверхность, как это уже было в космополитизме XVIII века. Такой опасности нет в диалоге Бубера с Бердяевым, Томаса Мертона с Дайзэцу Судзуки и Далай-Ламой XIV. Личный опыт глубины всегда связан с каким-то колодцем, с каким-то прочным срубом. Отвергается только обожествление сруба, превращение буквы Писания в тюрьму духа. Однако опасность выхода на поверхность существует, и сопротивление диалогу – тоже часть развития диалога. Сопротивление заставляет все время проверять, не потерял ли диалог контакта с глубинным опытом.

Во-вторых, многим страшно, что через прозрачные границы легче переступить и паства разбежится, уйдет к соседям. Но бегут не из-за легкости побега, а из-за силы отталкивания от омертвелой общинной жизни, окостенения, вялости, от духовной пустоты, казенщины. Томас Мертон, выросший в семье художников, формально протестантов, первый толчок веры пережил от византийских мозаик в старых римских церквях. Потом впечатление стерлось, но снова всплыло, когда он смотрел на лица молящихся в католических храмах. Лица прихожан в протестантских церквях казались ему будничными. Стараясь осознать это, он стал читать Жильсона, Мари-тена – и нашел у них подтверждение своей тяги к католицизму. На этом пути, подробно описанном в «Автобиографии веры», догматика католицизма пришла последней.

Екатерина Колышкина, судя по ее речи-проповеди, поразившей молодого Мертона, стала католичкой под влиянием шока от русской революции. В католицизме она увидела силу, способную устоять против мирового коммунизма. В годы Гражданской войны она разуверилась в православной церкви, но ее всю жизнь влекло к себе народное православие (пустынники, странники). И в ее своеобразное католичество вошли многие русские традиции. Книги Колышкиной называются, латинскими буквами, по-русски: пустыня, соборность, странничество. Все эти книги основаны на русском опыте и перепроверены в жизни ее канадской общины. Менее всего Екатерина Федоровна занималась догматическим богословием.

Англичане, случайно заходившие в храм, где служил Антоний Сурожский, начинали иногда заходить во второй, третий раз, и в конце концов многие просили принять их в православие. Они не изучали богословие. Их захватывал Антоний. Он никого не вербовал, напротив – требовал подождать, еще раз обдумать свой шаг. Но его община постоянно росла за счет англичан.

В современной России стремительно растут общины баптистов, пятидесятников. Одни привлекают своей нравственной цельностью, другие – своим эмоциональным культом. Православие без всякого диалога выталкивает к ним своих прихожан. Выталкивает, потому что не может освободиться от своей косности. В подлинном диалоге личность не теряет, а лучше осознает себя, собственную глубину и учится любви к ближнему, учится чувствовать за словами сердце, за буквой дух, учится видеть ближнего не извне, а изнутри, не как чужого, а как родного. Но родного, имеющего свое лицо.

Когда мы думаем о чужой культуре, о чужом вероисповедании, мы начинаем со взгляда извне, и на первое место выходит массовое, поверхностное, а глубинное остается скрытым, когда же мы думаем о своем, то наше понимание окрашивает личный духовный опыт, память сердца. У о. Павла Флоренского, человека вдохновенного, но лишённого трезвости, это приводит к полемике, направленной в противоположные стороны. По его словам, индуистская мистика – чреватая, католическая – головная и только православная – от сердца. Между тем, в заметке о православии он оценивает русское православие так, что напечатать ее мог только католический журнал «Символ». В первом случае он свой личный внутренний опыт отождествляет с православием, и выходит незримое православие. Я имею в виду слова Августина: не всякий, кто принадлежит к зримой церкви, принадлежит к церкви незримой; и не всякий, кто принадлежит к незримой церкви, принадлежит к церкви зримой. Упустив это различие, о. Павел

противопоставляет незримое, лично пережитое православие зримому, исторически явленному католицизму. Во втором случае его внутренний опыт противостоит зримому православию. Если свести обе характеристики, выходит что-то вроде определения демократии Черчиллем: худший образ правления, если не считать всех остальных (которые еще хуже).

Вл. Антоний выражал свои предпочтения мягко, примерно так: в протестантизме многого недостает, в католицизме много лишнего. Это похоже на «Сказку о бочке» Свифта. Возможно, Антоний просто припомнил ее, процитировал оценку Свифта. Только у Свифта идеальное равновесие мыслится в англиканской церкви, а у Антония – в православии. И опять это незримое православие, православие личного опыта Антония Блума, где главную роль играет его личная встреча с Христом. Когда же он думает о зримом, исторически реальном православии, то оценивает его очень резко: «не теряем ли мы шанс стать из церковной организации церковью». То есть зримое православие даже церковью нельзя назвать, церковью, в которой осязательно присутствует Христос. Такие противоречия встречаются на каждом шагу, и задача диалога – осознать их, научиться видеть, чувствовать сердце другого, а не только оболочку слов.

Тогда, если действительно видеть другого до глубины сердца, чувство превосходства своего пути, своего языка исчезает. Хотя различие путей, различие языков остается. Оно связано с различием культур, его нельзя устранить, не превращая человечество в одну безликую массу. Своеобразные физиономии Запада, ислама, Индии, Дальнего Востока – богатство человечества, и в любой великой культуре возможны взлеты мистиков к непостижимому. Но передавать этот опыт можно только словами, понятными каждому в этом месте, в этот век. Никакое эсперанто не заменило живые языки со всеми их неправильностями и со всеми неожиданными возможностями. Во время одного из круглых столов М.Т. Степанянц бросила замечательную фразу: «Я за глобализацию, но такую, которая никогда не достигает окончательной цели».

То, что сегодня происходит в мире, можно сравнить со становлением общенационального патриотизма. В XIV веке его нигде в Европе не было. Сегодня он всюду победил, но чувство малой родины не исчезло; особенно это заметно в странах, сравнительно недавно объединившихся, – в Германии, в Италии. Но даже в России, где местные привязанности сознательно стирались Иваном III и его наследниками, осталось чувство малой родины северян, волжан, сибиряков... Можно перенести это в духовную область и сказать, что православие – малая родина восточных славян, христианство – большая родина, связывающая русских с немцами, французами, итальянцами... Ставя чрезмерный акцент на малой духовной родине, мы как бы возвращаемся к XIV веку, когда нижегородцы воевали с владимирцами. Экуменизм – это развитие чувства большой духовной родины, не зачеркивая привязанности к своей малой родине.

Также не должно зачеркивать ни большой, ни малой родины становление чувства нашей планетарной родины. Оно не может не складываться в современном мире, где взрывы в Эр-Рияде сливаются со взрывами в Хайфе и в Москве в один глобальный кошмар. Тех, кто упирается, судьба тащит, тащит нас к солидарности – духовной, моральной и, наконец, полицейской. Над небом малой родины и небом большой родины разворачивается третье небо, планетарное. Оно пока осознается только в диалоге. Но уже намечаются общие праздники, праздники братства религий – традиция, начатая Далай-Ламой XIV. И может быть, еще припомнится образ Розы Мира, созданный Даниилом Андреевым.

Только с третьего, планетарного неба становится видно, что иерусалимский клубок – символ планетарного клубка и угроза Иерусалиму – символ общей угрозы. Над всеми нами распростерлось третье небо, небо, свободное от границ, физически очевидное над холмами Иерусалима. Этот город уцелеет, если станет одной из столиц диалога, одним из воплощений воли к третьему небу. И всякий город на земле не сможет иначе уцелеть, только в Иерусалиме это видно простым глазом и третье небо подступает к каждому дому и единый Бог молча

взывает к каждому сердцу: не рвите меня на части.

### 3. Богословско-политическое в диалоге с исламом

Город, святой для нескольких общин, обречен стать городом диалога религий. Но слово диалог может означать слишком много. Бубер, теоретик диалога, привел пример самого тонкого, самого глубокого значения слова. Однажды он заспорил с коллегой, христианином, кто лучше понимает Христа. Бубер считал Христа великим еврейским пророком. Христианин думал иначе. Спор зашел в тупик. Вдруг оппонент встал. Бубер тоже поднялся со своего кресла. Они посмотрели друг на друга и братски обнялись. В этот миг, писал Бубер, совершился диалог.

Попробую втиснуть этот пример в определение. Диалог – такой обмен мыслями, в котором дух целого витает над столкновениями реплик. И этот дух, охватывающий участников, подымается над логикой, зашедшей в тупик, над инерцией спора, и гасит полемический азарт.

Диалог религий мало что дает, если не признать положения, которое мы с Зинаидой Миркиной защищаем в своей книге «Великие религии мира»: признать, что глубина каждой религии ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. То есть на последней глубине все святыя писания – только неловкий человеческий перевод не сказанного Божьего слова. Противоречия писаний – это противоречия переводов. Подлинный толчок, полученный человеческим умом, несказуем и неделим. Но он делится в уме, на языках человеческого опыта, на санскрите, иврите, на пали и арабском. Поэтому буква мертвит, поэтому Томас Мертон, после разговора с Дайзэцу Судзуки, писал, что – при всем великом значении, которое имеет различие традиций – есть нечто, связывающее католического монаха с дзэнским старцем в общину созерцателей, противостоящую «нашим соотечественникам, ведущим агрессивно несозерцательный образ жизни» (это из предисловия к книге «Mystics and Zen masters»). Потом эта декларация созерцателей несколько раз повторялась. Я слышал, в 1996 году в Швейцарии, как Далай-Ламу спросили, в чем сущность ламаизма, и он ответил, что главное – любовь в сердце, а метафизические теории, буддистские и христианские, – дело второстепенное. А в книге Рихарда Вурмбрандта «Христос спускается в тюремный ад» я прочел: «Число наших конфессий можно было сократить до двух. Первой из них стала бы ненависть, которая использует обряды и догмы, чтобы нападать на других. Другая – Любовь, которая позволяет очень разным людям познать их единство и братство перед Богом».

Если в религии главенствует буква и нельзя ни на шаг отступить от буквы Горы, от буквы Корана, то поле диалога сужено. Фундаменталисты здесь сходятся с людьми, начисто лишенными духовного опыта. Я убедился в этом на «круглом столе» в Горбачев-фонде, когда впервые сослался на слова Далай-Ламы и впервые услышал упрек: это демагогия! Я тогда промолчал. Но через пару лет я держал в руках книгу «The good Heart», т.е. протоколы заседаний семинара христианской медитации им. Джона Мейна, на которых Далай-Лама комментировал избранные им фрагменты Евангелий, а затем его комментарии в свою очередь обсуждались и комментировались. Но, может быть, не менее замечательным было молчание, с которого разговор начинался. Далай-Лама зажигал свечу, все зажигали от нее свои свечи и полчаса проводили в созерцании единства, которое не вмещалось в слова.

Многие участники семинара говорили, что именно в молчании они постигли братство религий, к которому стремились. Протоколы семинара, состоявшегося в 1994 году, были опубликованы только в 1997-м, много времени ушло на разработку комментариев и словарей, где давались древние и современные понимания христианских и буддийских терминов, например, что значат слова «ангел», «ад», «вечность» и т.п. Сами по себе эти словари – огромный шаг вперед в суперэкуменическом богословии, разработку которого начал несколько десятков лет тому назад Раймонд Паниккар, некоторыми терминами которого я еще воспользуюсь. Но все же главным было молчание, в котором собиралось все, рассыпанное в словах.



Далай-Лама положил начало и обрядности межрелигиозного диалога. Он посетил святые места христианства (не как турист, а как паломник – это он подчеркнул) и молился у христианских святынь. А затем большая группа христианских священников и епископов посетила Индию и молилась под деревом Бодхи.

Почему нельзя даже представить себе процессию раввинов, обходящих Каабу, и процессию шейхов ислама, молящихся у Стены плача? Отбросим фразу, мгновенно мелькнувшую в уме: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Разумеется, не может быть; но если не будет никакого сдвига в этом немислимом направлении, то все соглашения рухнут в бездну войны, как в бочку Данаид. Поэтому все же стоит продумать эту абсурдную ситуацию. Начнем с того, что структура святынь в каждой религии – своя. Для христианства и буддизма личность, от которой исходит писание, выше писания. Для иудаизма и ислама Моисей ниже Торы, Мохаммед ниже Корана. Моисей не писал скрижалей, он только принес их. Коран, по толкованию авторитетных богословов, предвечен, создан раньше неба и земли и только продиктован Мохаммеду.

Можно воспользоваться термином гомология, введенным Паниккаром, то есть аналогия места и иерархии святынь.

Генетически, по происхождению, все авраамистические религии – одна семья; но гомологически подобны христианство и буддизм (личность выше текста), ислам подобен иудаизму (текст выше личности). Это усиливает позиции фундаментализма, противников диалога. Однако главная трудность на пути к диалогу с исламом не в этом. Суфии научились обходить метафизические препятствия, используя метафоры и притчи. По существу, они создали рядом с Кораном, опираясь на мекканские суры и обходя мединские, новое писание, Новый Завет. И в средние века именно суфии подходили к порогу диалога, не встречая ответа со стороны христиан. Порог, который сегодня трудно переступить, – в политике. Ислам неотделим от политики. В Средние века он занимал позицию силы, христиане или иудеи Ближнего Востока ему не угрожали, и мусульмане могли не думать о политическом ущербе. Сегодня они не могут о нем не думать.

Канонический ислам – не учение о личном спасении. Правда, исторически христианство тоже к этому не сводится, и буддизм иногда впутывался в политику, но в глубине своей они аполитичны. Какая политика в четырех благородных истинах Будды или в словах Христа: ищите царствия небесного, а остальное приложится вам? Между тем, ислам с самого своего истока, с Корана, с его мединских сур, – учение о священном социально-политическом порядке. Мусульмане воевали друг с другом не из-за разных способов спасения. Главным был вопрос, как и кто будет наследовать престол халифов – потомки Али или любые другие достойные люди? Поэтому нельзя, начиная диалог с исламом, вынести за скобки политику: создание Израиля, проблему Иерусалима и судьбу беженцев. Диалог с исламом неизбежно принимает богословско-политический характер. Это заставляет нас оставить глубины, где горит вечно живой огонь любви, и подняться в поверхностные слои опыта, где царят вражда и война. Как при этом не потерять контакта с глубиной? С высшим Разумом, который – перефразируя Хамдани – витает над частностями? Это не просто. Запутываясь в частностях, мы то и дело теряем чувство глубины, чувство единого организма, где палец связан с другим пальцем единым током крови и нет ничего совершенно отдельного, нет отдельных выгод, только общая. Грех, как сказал Антоний Блум, – это прежде всего потеря контакта с собственной глубиной. Разбираясь в изломах политики, мы все время скатываемся к греху. Избежать этого полностью выше человеческих сил. Постараемся, по крайней мере, не слишком сильно грешить и не терять любви к людям, которые не ведают, что творят, охваченные страхом и ненавистью.

С точки зрения арабов, само создание государства Израиль было оскорблением ислама и

произвольным переносом проблемы, с которой не справилась Европа, на Ближний Восток. Можно возразить, что Еврейское агентство скупало земли с разрешения турецких, а потом английских властей, уплачивая полную цену владельцам. Но владели землей эффенди, жившие в городах, а обрабатывали землю арендаторы. Арендаторам по закону не полагалось ничего. Им давали немного денег на переезд (сверх стоимости земли); вероятно, надо было бы дать больше, но средства агентства не позволяли расширять благотворительность без предела. Арендаторы оказывались разоренными. Можно было бы им, по образцу многих стран, бороться за изменение системы землевладения, за аграрную реформу. Но эта возможность не была осознана. Арабские арендаторы нашли только один выход: истребить евреев и таким образом приостановить перемены.

Погромщиками двигал страх. Евреями также. Две волны погромов, в 1929 и 1936 годах, заставили еврейских поселенцев создать систему обороны. Первоначальный план создания еврейского национального очага в общем государстве всех палестинцев был отброшен. Победила идея раздела страны. ООН приняла план раздела между двумя общинами. Израиль этот план принял, соседние арабские государства отвергли. При этом население Палестины не было опрошено, им манипулировали по радио. Новый, альтернативный план раздела, более выгодный арабам, не был предложен. Регулярные армии четырех государств, игнорируя решение ООН, вторглись в Палестину – и были разбиты отрядами еврейских поселенцев. Военные действия несколько раз прерывались перемирием, возник эпизодический план графа Фольке-Бернадотта, комиссара ООН, более выгодный арабам, но война уже стала фактом и шла по своей собственной логике. Фольке-Бернадотт был убит группой израильских экстремистов. Этот печальный эпизод ничего не решил: арабские страны не хотели никакого раздела и не готовы были обсуждать какой бы то ни было проект. Война остановилась на очередном перемирии, без тех уступок, на которые Израиль пошел бы при заключении мира, в обмен на установление дипломатических отношений, как с Египтом в 1973 году.

Существует обычай, что страна, начавшая войну и потерпевшая поражение, признает свое поражение. Греки, вторгшиеся в 1922 году в Малую Азию и разбитые наголову, вынуждены были согласиться на крайне невыгодные условия мира. Греческое население Анатолии, обитавшее там примерно 3000 лет, было выселено как нежелательные иностранцы. После Второй мировой войны, начатой Гитлером, миллионы немцев были выселены из земель к востоку от Одера. Прошло полвека, и проблема беженцев потеряла свою остроту.

Однако бывают и другие случаи, когда конфликт длится веками. Арабы вспоминают крестоносцев, взявших Иерусалим и не сумевших его удержать. Это верно, однако крестоносцы были только войском, они не укоренились в Палестине, не стали здесь новым народом. Вытесненное войско вернулось на родину. Кроме того, у крестоносцев не было атомной бомбы. А Израиль – это народ, которому некуда эвакуироваться, и, прижатый к стене, он может спутать все расчеты. Нашелся ответ и на такой аргумент: террористы-самоубийцы, от которых не спасает ни атомная, ни водородная бомба. Террористы не могут уничтожить Израиль. Израиль не может уничтожить террористов...

Я читал книгу Фаваза Турки «Дневник палестинского изгнанника» и вжился в глубину отчаянья палестинцев. Я думаю, в нее можно вжиться, вспомнив миг, когда смерть вырвала из твоих рук бесконечно любимое существо. Тогда ничего не хочется, кроме смерти. Томит искушение покончить с собой на могиле... и можно понять воинов-самоубийц. Взрывая себя, они приносят жертву родине. Но победы здесь нет, здесь тупик. Шахиды не могут уничтожить Израиль. Израиль не может уничтожить шахидов.

Время лечит, сказал Рильке. Через какой-то срок после бесконечной и безвозвратной потери начинаешь воскресать. Я убежден, что для беженцев-немцев и беженцев-греков память о потерянной родине стала чем-то вроде моей памяти об Ире Муравьевой – бесконечно близкой

тенью, провожающей меня в новой жизни и новой любви, и дети беженцев любят свою новую родину и не чувствуют себя бездомными. Сейчас уже многие говорят о необходимости расселить население лагерей беженцев по другим арабским странам, дать им возможность вернуться к нормальной жизни и, может быть, найти в ней новую любовь и новое счастье.

Это очень трудно, это будет вызывать отчаянное сопротивление; трудно расстаться с идеей, выношенной за полвека. Но идея возвращения к прошлому неосуществима. Уничтожить Израиль нельзя без моря крови – и, может быть, создав вместо цветущей страны выжженную и отравленную пустыню. Что там будут делать палестинцы?

Расставание с фантомом займет годы, может быть, десятки лет. Очень трудно будет преодолеть сопротивление политических лицемеров, привыкших использовать дешевую рабочую силу палестинцев, давая им вместо гражданских прав резолюции арабской лиги. И нужно лет 25, чтобы выросло новое поколение, привыкшее к новой родине. Но иного пути нет. Только очень нескоро можно будет серьезно взяться за проблему ничейного и всеобщего Иерусалима. Только через определенный срок после последнего террористического акта. И то – если волны безумия перестанут перекачиваться по земле, разжигая старые конфликты. Мир на Ближнем Востоке – не решение шахматной задачи. Тут есть нити, уходящие очень далеко.

Ближневосточный узел – один из детонаторов мирового безумия. Но и обратно: нельзя потушить очаг террора на Ближнем Востоке, не борясь со вспышками глобального террора по всей планете. Глобальный террор стал политической реальностью. Ее не удалось предотвратить, и теперь с ней приходится считаться. Надо лечить весь организм, помнить о всех болевых точках – в Кашмире, в Чечне<sup>1</sup> и десятках других, созревших и зреющих волдырях. Вокруг каждой болевой точки возникает поле напряжения, и все эти поля сливаются в одно глобальное поле, где набирает силы глобальный террор. Успехи в залечивании отдельной язвы иллюзорны, если болезнь повсюду. Иерусалим не станет городом мира, святыней диалога трех великих религий среди всеобщего безумия.

Диалог религий – только один аспект выхода из глобального кризиса. Надо понять, что генератор кризиса – на Западе. Нынешнее лихорадочное состояние, овладевшее исламом, слишком напоминает лихорадки большевизма и нацизма. Это очередная попытка силой упростить мир, ставший слишком сложным. Меняются фантомы (коммунизм, тысячелетнее царство германцев, правление четырех праведных халифов), политическая реальность другая – прокрустово ложе для истории.

Судорога нацизма изжила себя во Второй мировой войне. Судорога большевизма сама себя исчерпала за 70 лет. Можно предполагать, что судороги стихнут и в мире ислама. Но это не случится без борьбы – во многих измерениях. Одного военного сдерживания недостаточно. Нужны попытки понимания, способные вызвать ответное понимание, хотя бы, на первое время, у слабого меньшинства. И нужно понимание и преодоление собственной духовной слабости Запада, вдохновляющей ваххабитов.

Выход этот недостижим без оздоровления всей западной цивилизации, распространившейся по земле, – вместе со своими СМИ, с культом наслаждений, доходящих до радости насилия, вместе с наркотиками и СПИДом, но без богатства, оставшегося монополией «золотого миллиарда»<sup>2</sup>. В лечение входит известное ограничение западной свободы, вышедшей за свой оптимум. Каждая ценность, выйдя за оптимум своего расширения, становится разрушительной силой и взрывает целостность культуры. Сейчас на Западе свобода превращается в такую разрушительную силу, и если Запад не сумеет сам себя ограничить, то он потеряет свою роль гегемона и его оттеснят страны Дальнего Востока.

Инъекция марксизма в Китае уже сегодня дала неожиданные результаты. Роберт Белла, с

которым я часто соглашаюсь, признал марксизм китайской формой вестернизации. Белла предположил также, что марксизм подготовит Китай к восприятию христианства. Я склонен несколько видоизменить эту гипотезу. Опыт прошлого показывает, что инъекция чужого приводит к сдвигу в традиционном диалоге Кун Фуцзы, Мэнцзы, Сюньцзы, Лаоцзы и Чжуанцзы; в это святое общество был принят и Будда; какое-то время он, казалось, шел к первенству, но в конце концов в центре снова оказался Конфуций, а импортированный буддизм занял свое скромное место. Сейчас снова, как две тысячи лет тому назад, нужен мощный духовный противовес бездуховности, и в общем потоке глобализации Китай незаметно впитывает – во всяком случае, это можно предположить – некоторые авраамистические религиозные идеи. Но почему только христианские? Почему невозможен диалог авраамистических идей? Глобальному Китаю нужна будет глобальная религиозная ориентация, и он ее, быть может, создаст.

Картина, которую я рисую, относится к области фантастики. Но фантастичен только конкретный облик будущего. Утрата опережающего исторического развития западно-христианской цивилизации – почти свершившийся факт. Даже в ограниченном смысле научно-технического развития оно оспаривается и будет оспариваться. Кризисность западной истории легко может перейти в катастрофичность. Ислам, гегемон средних веков, отодвинутый в тень новым временем, сегодня пытается взять реванш, но поворот к посленовому может быть совершен только на основе усвоения нового, а не простым возвратом к средневековью. За фантомом всемирного халифата нет силы. Но внутренний кризис Запада остается кризисом. Опережающее историческое развитие вполне может перейти к Дальнему Востоку.

Следующая большая эпоха будет эпохой внешних ограничений, продиктованных экологией; неизбежные лишения могут быть уравновешены только ростом внимания к внутреннему развитию. Тоталитарная диктатура – тупик, уже испробованный и отброшенный, диктатура хамов, разрушающая культуру, гибель человечества. Нужна золотая середина. Насколько я понимаю, традиции Китая и Японии близки к этой середине. Они веками сочетали духовную свободу, необходимую для жизни культуры, с жесткой социальной дисциплиной.

Нетрудно предвидеть общий рост авторитета Индийско-Тихоокеанского региона и западные заимствования восточной мудрости (они уже происходят в католической теологии). Вероятно и политическое возвышение Дальнего Востока, выход его на место, подобное нынешней позиции США. Однако анализ политических возможностей не входит в задачу. Я остановлюсь только на одной перспективе: глубокое и общее знакомство с религиозностью двух древнейших цивилизаций земли, обошедшихся без религиозного фанатизма, увеличит шансы на понимание общей глубины трех авраамистических религий. И хочется верить, что религиозный фанатизм, религия ненависти, использующая догмы и обряды для насилия, станет провинциальным уродством.

1 См.: Чеченский узел.

2 В передаче телевидения 22.11.03, после взрывов в Стамбуле, мелькнула фраза: массовые обыски были произведены в беднейших кварталах. Разрыв между богатством и бедностью наций – одна из подпиток мусульманского экстремизма. В этом пункте он смыкается с антиглобализмом.